

Оттого молодец с лошади свалился,
что мать криво посадила.

Пословица

ПРОЛОГ

1

Когда-то стояла здесь угрюмая, сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка.

Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод.

На другой день начали валить деревья и строить жилье.

Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, решили они поселиться тут потому, что не было сюда путей-дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука.

Так или примерно так возникали в вековой сибирской глухомани заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев.

Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось.

Деревне еще и названия не было, а реку наименовали Светлихой — наверное, за чистые и прозрачные, как сосновая смолка, воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега.

Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта. Крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей.

А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на много верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смолем и деревне, если бы не Светлиха.

После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи, но воды смирной летом реки за три-четыре весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье, до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье — коси не хочу!

С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила.

Деревня хотя и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжистые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка полтора переулков, нырявших между холмами.

Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за Чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала самое небо.

Чертово ущелье находилось километрах в двух от деревни. Это была глубокая, саженей в пятнадцать, впадина с почти отвесными каменистыми краями. Бока ущелья зарастали крушиной, вереском и мелким кустарником. На дне его, неумолчно позванивая, холодно кипел, брызгая белой пеной, ручей, питавшийся подзем-

ными ключами, что били из-под обомшелых, насквозь прозеленевших камней. Спуститься в ущелье можно было только в двух-трех местах.

Каждому, кто заглядывал в ущелье летом, оно дышало в лицо холодным черным сумраком. Очевидно, поэтому дикое ущелье и называли Чертовым.

Каждое утро, когда еще не было видно солнца, гранитная верхушка утеса над Светлихой уже окрашивалась в красно-розовый цвет. По мере того как где-то поднималось солнце, краска с вершины утеса стекала все ниже и ниже. Розовый цвет превращался в желтоватый, блекнул прямо на глазах. Казалось, вот-вот камни совсем потухнут. Но через несколько минут бледно-желтая краска начинала густеть, принимала медноватый оттенок. И вот уже весь утес горел золотом, горел столь ослепительно, что на него больно становилось смотреть. Каждый гранитный кристаллик яростно отражал лучи невидимого еще людям солнца, эти лучи сливались в один огромный огненный, полыхающий столб.

Утес потухал, когда показывалось над землей солнце. Некоторое время поблескивали еще, переливались, как живые, белые искорки по его каменному срезу, висевшему над Светлихой, но скоро и они гасли.

Люди издавна заметили эту игру света и окрестили утес Злат-камнем.

А однажды пустил кто-то слух: неспроста называется так утес — под каменными глыбами лежит несметное количество золота в самородках и россыпью.

Слух загудел по Зеленому Долу, как памятный таежный пожар, раздуваемый ураганом. Люди кинулись через Светлиху на лодках и вплавь, долбили ломами брызжащий железными осколками гранит, рыли лопатами, а то и руками мокрый, тяжелый, как свинцовая дробь, песок. Облазили все скалы сверху донизу, изогнули ломы, истерли лопаты, до костей спустили мясо на ладонях, но никакого золота не нашли.

Со временем люди утихомирились, перестали долбить камни и рыть песок. Но молва о богатствах, скрытых под утесом, не исчезла. Она жила среди народа и была как

летнее марево: вот дрожит оно под ближним пригорком, а подойди — ничего здесь нет, оно струится над следующим. И, витая над деревней, легенда все больше и больше окутывала утес ореолом таинственности.

На самой вершине утеса из широкой, забитой землей расселины рос огромный, развесистый осокорь. Он был настолько могуч, что казалось, каменный утес не выдержит его тяжести и вот-вот развалится; настолько высок, что в ненастные дни тяжелые облака спускались ниже его ветвей. Может, поэтому в него ни разу не ударила молния. Только ветер отламывал иногда от него ветки и бросал в Светлиху.

Осокорь был виден за много километров. Солнце теперь освещало прежде всего верхушку дерева и уж потом начинало расцвечивать камни.

Люди удивлялись: почему осокорь вырос на самой вершине утеса, каким ветром и откуда принесло сюда его семечко? Ведь, кроме берез да осин, в этих местах не растут лиственные деревья. И лишь немногие знали, что осокорь посажен был человеческой рукой.

Сейчас уж никто не помнит имен первых поселенцев Зеленого Дола и никто не знает их судьбы. Но лет за соток до революции появился в деревне мужичонка с деревянной ногой — Авдей Меньшиков. Этого старожилы уже помнят.

«Хром ногой, да прям головой», — с завистью шептали о нем одни. «Нога у него деревянная, да руки железные, — с отчаянием говорили другие. — Схватит за горло — уж не отпустит».

Авдей Меньшиков действительно в скором времени взял всех за горло и держал намертво. Он отобрал у прежних хозяев тучные покосы и лучшие земли. Больше полдеревни стало работать на него.

Авдей Меньшиков умер ровно за двадцать лет до революции. После него в деревне хозяйничал свирепый и своенравный, как дикая лошадь, Филька Меньшиков. У этого руки были уже не железными, а стальными. И, кроме того, у него, в отличие от родителя, было две ноги. Он так и говаривал:

— Батя все одной ногой давил вас, а я — обеими! Обеими, понятно?

Понятнее было некуда.

Филька любил выпить. А выпив, ходил по деревне, останавливал встречного и поперечного, жаловался:

— Вот что я? Филипп Меньшиков. Помру я — что тогда? Ничего, останется мой брат, Демид Меньшиков. Понял? Сына бы, конечно, надо мне. А баба проклятая дочь народила, с-стерва... Натахой прозвали, Натальей, значит. Я предупреждал: «Девку принесешь — возьму тебя за ноги и надвое раздеру...» И раздеру! Понял? Я десять лет наследника ждал, а она — на тебе! Разродилась, называется...

Помолчав, Филипп обычно добавлял:

— А с другой стороны, дочь — она тоже хоть и баба вроде, да Меньшикова. Понял? И вечно мы будем на земле — Меньшиковы. Понял? Ну, дуй колесом, пока в рыло не сунул!

Особенно тяжело и безжалостно давил Филипп своих односельчан в годы мировой войны, наживая бешеные деньги на военных поставках зерна, мяса, кож. Он раздобыл, расплылся и по запустевшей без мужиков деревне ходил неторопливо, переваливаясь с боку на бок, как раскормленный селезень.

Все операции по поставкам Меньшиков производил через Парфена Сажина, богатого мужика-старовера с мохнатой, как овчина, шеей, жившего в волостном селе Озерки, что верстах в сорока за Светлихой.

2

Стояло душное лето пятнадцатого года.

Филипп Меньшиков и Парфен Сажин отмечали одно из своих многочисленных удачных дел.

За столом, кроме них, сидели еще Демид да Анисим Шатров, гуляка-парень лет двадцати пяти, сын зеленодольского мельника.

— Эх, Парфен, да мы с тобой... ить... — икал осоловевший вконец Филипп. — Токмо вот мужичишки бы

с войны повозвертались! Не хватает рабочей силки. Н-да ништо, не всех перебьют, поди, там. Ух, уж развернись тогда!..

— Не шибко-то надейся, Авдеич, — хрипел в ответ Парфен. — Они, которые возвращаются... того, однако...

— Чего «того»?

— Как бы там и не слез, где сесть хочешь. Вернулся один такой бывший работник ко мне... Я ему рупь за работу даю, он два требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет...

— Хе! — воскликнул Филипп. — У меня не возьмет! У меня они все шелковые. По струнке ходят. И бывшие, и настоящие. Н-нет, мой рупь они уважают! — распаялся Меньшиков все больше и больше. — Понял? Чего? Не веришь?! А ну айда!

Филипп и Парфен вывалились на крыльцо, чуть не сломав перила. Возле конюшни высокий парень в черной рубахе навывпуск кидал навоз.

— Захарка! Подь сюда! — закричал Меньшиков.

Парень воткнул вилы в навозную кучу, отер пот с лица, подошел:

— Чего тебе?

На вид парню можно было дать года двадцать четыре, если не больше. Здоровый, крепкий, как лиственничный сутенок, он стоял, чуть пригнув голову, спокойно разглядывая Меньшикова и Сажина большими серыми глазами. Его широкие влажные скулы матово отсвечивали на солнце, капельки пота поблескивали и в пробивающемся пушке над верхней, резко очерченной губой. Ветерок шевелил ворот расстегнутой рубахи, сушил мокрые, давно не стриженные, буйные волосы, закрывавшие половину лба.

На самом же деле Захару Большакову едва исполнилось двадцать. Он уже четвертый год жил у Меньшиковых в работниках.

— Ишь, устави́л гляделки! — нахмурился Филипп. — Чего, дурак, набычился?

Парень промолчал, только сунул руки в карманы измазанных навозом домотканых штанов да переступил с ноги на ногу.

— Прибавки к жалованью хочешь? — спросил Филипп.

— Кто ж не хочет?

— Ну, всем-то жирно будет. А тебе одновременно сейчас выдам. Ежели не упадешь, конечно.

Филипп сполз с крыльца, не спеша засучил рукава. Захар все так же спокойно наблюдал за ним, по-прежнему держа руки в карманах. Меньшиков качнулся и наотмашь ударил парня в лицо.

Голова Захара мотнулась, струйка крови разрезала надвое крутой подбородок. Но парень и теперь не вынул рук из карманов.

А Меньшиков, пьяно ухмыляясь, полез в карман за кошельком.

— Вот так, Парфен... Вот этак они мой рупь-то уважают. Сейчас, Захар, сейчас... На. Заработал — получи.

Захар вынул наконец руки из карманов, но, вместо того чтобы взять деньги, тяжело размахнулся и что есть силы звезданул своего хозяина в волосатую скулу. Пошатнулась под Меньшиковым земля. Филипп отлетел в сторону, грузно шмякнулся оземь, перевернулся несколько раз. Затем, лежа на спине, чуть приподнялся, заморгал удивленно, непонимающе.

А Захар, вытирая пропахший навозом кулак, сказал:

— Прости уж, платить нечем.

Со Светлихи с большим тазом выполосканного белья подошла Марья Воронова, поденщица Меньшиковых.

Высокого роста, с ясными глазами цвета вызревающей черемухи, с крутыми бровями и длинной, чуть не до колен, косой, Марья, по общему мнению зеленодольцев, была самой красивой девкой в деревне. Самой красивой девкой, но и самой старой невестой. Годы ее подходили к двадцати пяти, а она все еще не обзавелась семьей, по не понятной никому причине отказывая всем женихам. Потом причину узнали — сохнет Марья по мельникову сыну Анисиму.

Филипп давненько уже поглядывал на Марию мутным глазом. В последнее время, краснея и шмыгая носом, начал тереться, крутиться вокруг нее и Демидка. Од-

нако ни тот ни другой трогать ее не решались. Едва встретался ей кто-нибудь из них будто случайно, в глухом месте, Марья, гибкая и крепкая, точно отлитая из одного куска резины, ошпаривала их крутым предостерегающим взглядом красивых глаз, чуть шевелила густыми бровями, и каждый из братьев поспешно убирался восвояси.

Она поставила таз с бельем на землю, поглядела на распластанного Филиппа, усмехнулась, показав белые зубы, и сказала:

— Я бы, Захар, уплатила за тебя ради такого случая. Да тоже не заработала.

И словно только теперь к Филиппу вернулся разум, и понял он, что произошло.

— Т-ты?! Кого эт-то ты?! — заорал он, вскакивая. — Демидка! Анисим! Парфен! Скрутить Захарку! Обломать ему кулачища-то...

Из дома выскочили Демид Меньшиков и Анисим Шатров. Не понимая, что произошло, они кинулись на помощь Парфену и Филиппу, крутившимся вокруг Захара Большакова.

Со всеми ими трезвыми Захару, конечно, было не справиться. Но пьяных он раскидал их, как мешки с мукой, отшвырнул крепче других вцепившегося Демиду, оставив в его руках кусок рубахи, и выскочил с подворья.

— И Марью-потаскуху тоже в шею! — орал взбешенный Филипп. — Аниска, поддай, говорю, своей ухажерке! Она слюной-то на тебя исходит — всем известно. Вдарь по шарам ее бесстыжим!

— За что? — спросил Анисим.

— За насмешку...

И только теперь Анисим увидел заплывший Филиппов глаз.

— А-а... — махнул рукой Шатров. — Если уж обидно тебе, что бесплатно фонарь подвесили, я заплачу...

— Анисим! Что городишь?! — заворочал глазами Филипп.

— А-а... — еще раз протянул Анисим. — А ты, Марья, смелая... хозяину-то эдак! За это погуляю с тобой сегодня ночку. Приходи на Светлиху к вечеру. Придешь?

— К пьяному-то... — подняла на него глаза Марья, но тут же опустила их. И, никого не стесняясь, прибавила: — К трезвому вот приду.

— А трезвый-то я, может, и не позову тебя, — нахально сказал Анисим и повернулся к Демиду. — Айда допьем, чего там осталось. Очухаются — приползут.

Анисим с младшим Меньшиковым ушли в дом. Парфен Сажин, чертыхаясь, отряхивал пыль с колен, с рубахи.

— Ладно он нас, пострел этакий... Силища как у дьявола. — Парфен подошел к Филиппу, стал помогать подниматься. — И в самом деле — айда пображничаем еще... Вот сына мово, Матвейки, нету здесь. Он бы его, Матвейка-то... в два счета. Ладный у меня сын, далеко только. На Урале, на самой родимой Печоре разъезжает. Знаешь, где Печора-то, благословенная река? Нет?.. А сын у меня к большим делам приставлен, к самому Аркадию Арсентьевичу Клычкову. Знаешь Клыčkова-то? Нет?.. Да где тебе!..

3

Примерно в то же время этот самый «сам» — Аркадий Арсентьевич Клычков, известный по всему Уралу купец и промышленник, «обмывал» покупку Большереченских золотых приисков. Третий день над североуральским таежным селом стоял дым коромыслом.

— Эх, ядрена шишка, знай, народ, Таежного Клыка, ложись травой перед Аркашкой Монахом, сволочи-и! — тряс широкой староверческой бородой Клычков. Он схватил бокал коньяку, разбавленного шампанским, долго сосал обжигающую влагу распухшим за трехдневное гульбище ртом.

— Аркадий Арсентьевич... Аркаша-а! — простонала знаменитая екатеринбургская проститутка Дунька Стелька, женщина накрашенная, тонкая как змея. Вот уже полгода ее таскал с собой повсюду Клычков. — Право же, неудобно... Люди к тебе с почтением...

— Цыц, Дунька! — оборвал ее Клычков. — Знаем мы, что за почтение... Знаем, как за глаза-то навеличивают...

Клычков презрительно оглядел разномастных гостей, шумевших в большой и высокой зале с люстрами. Теперь эти люстры, и зала, и весь огромный дом бывшего хозяина рудников — его, Аркадия Клычкова, собственность. Да и люди, смятые, взлохмаченные, куражившиеся за столами, вповалку лежавшие на плюшевых потертых диванах вдоль стен (неважно шли дела у бывшего золотопромышленника, Аркадий Арсентьевич это слышал, но, когда увидел потертые диваны, сразу сбавил цену за рудники на одну четверть), эти люди тоже почти принадлежали ему. А ведь в зале копошились не какие-нибудь трень-брень — ирбитские ярмарочные воротилы, тюменские скупщики хлеба, скота, масла, златоустовские промышленники со своими компаньонами, тагильские заводчики. Было время, кланялся им Клычков каждому в отдельности, пусть теперь кланяются ему все вместе. Ведь у него, у Клычкова, хлебные, галантерейные, москательные, меховые и разные другие лабазы в Ирбите, у него медные и серебряные рудники по реке Чусовой, угольные шахты на Вишере, торговые конторы во многих уральских городах, в том числе в самом Екатеринбурге, он неограниченный хозяин вычегодских и печорских лесов со всеми их богатствами.

Все, все есть у него, Аркадия Клычкова. Не было только золотых рудников, а теперь пожалуйста!

Высокие окна раскрыты настежь, теплое августовское солнце заливало залу, ветер чуть шевелил легкие кружевные занавески. Занавески были уже клычковскими, он приказал их повесить перед приездом гостей.

С улицы доносились пьяные крики, матерщина, песни — третий день вместе с новым хозяином рудников гулял и рабочий люд. Клычков приказал кабатчику поить всех бесплатно.

В открытые окна налетело множество больших зеленых мух. Они кружились над столами, облепили развороченные закваски, целыми полчищами ползали по ска-

тертям, образуя живые темные островки там, где было пролито вино или варенье.

Один такой островок был как раз напротив Клычкова. Он глядел-глядел и вдруг хлопнул по столу тяжелой ладонью.

Мухи разлетелись не все. Около десятка остались раздавленными на столе, примерно столько же прилипло к ладони.

— Вот! — сказал Клычков, поднимая руку. — А Таежный Клык — пусть. Лишь бы не затупился. И Монах пушай. Старой веры мы, это верно. Хотя в Бога я вроде уже не верю. Сестра моя, правда, живет по старому укладу. Па-агадите, жирные брюханы, я вас еще приглашу в Черногорский скит на Печору, вы еще поздравите у меня игуменью Мавру с ее именинами! Растрясете важность-то по тайге. Поедете аль откажетесь?

— Аркадий Арсентьевич... да хоть в самое пекло, только дай знать, что желаешь... — откликнулся ирбитский купец Прохор Воркутин, мотнув начинающей лысеть головой. — Уважаем мы тебя.

— Уважаешь? — Клычков усмехнулся. — А не припомнишь, годков с десятков эдак назад я слезно просил у тебя тыщонки три на поправку, когда единственный мой амбар с первой в моей жизни закупленной партией зерна вдруг сгорел? Взял да и сгорел. А, как? Легко мне было? А ты...

— Так, Аркадий Арсентьевич... У тебя розмахи-то сразу объявились... Ты — с места вскачь, наметом пошел... Где у меня такие капиталы были? Я и сейчас не смог бы. Да и сдавалось мне тогда — для виду просил ты, не по нужде...

— Что-о?! — багровея, хлопнул Клычков еще раз по столу ладонью с прилипшими мухами.

Самое больное место задел Воркутин. По всему Уралу метался слух — с чужого добра пошел жить Клычков. Лет десять-двенадцать назад безвыездно сидел он на Печоре, где в глубине таежных дебрей сохранились еще старообрядческие общины и целые скиты. Жили Клычковы небогато, были яростными приверженцами и хра-

нителеми старой веры. За это сестра Аркадия, бобылка Мавра, была избрана уставщицей¹ при игуменье одной из черногорских обителей. Уставщица Мавра столь исправно несла часовенную службу, столь истово соблюдала все религиозные каноны, что игуменья перед смертью выбрала ее своей заступницей.

Новая настоятельница обители перебралась на житье в игуменскую стаю². И, в обход всех староверческих канонов, сделала своей ключницей некую Пелагею Мешкову, которая вместе с другими женщинами-ткачихами из наряденного льна и шерсти ткала на общину пестряди, новины, сукна.

Долго гудела приглушенно обитель: почему именно Пелагею, женщину замужнюю, соблюдением основ старой веры особо не отличающуюся? Болтали даже потихоньку злые языки, что новая игуменья и ключница делают напополам мужа Пелагеи — рябого и белобрысого мужичонку Никодима, сокрушались: экое святотатство, гибнут, рушатся вековые устои и заповеди.

Но постепенно новая игуменья так забрала власть, что самые болтливые языки прикусили.

И вскоре после этого появились в Ирбите два шустреньких скупщика хлеба — чернявый Аркашка Монах и белобрысый Никодим Мешков.

Мешков, совершив две-три удачные операции, уехал с кучей денег в Екатеринбург, открыл там большой универсальный магазин, а Клычков остался...

Об этих слухах знал Аркадий Клычков. И обидно было, что все считают, будто на общинные обительские деньги начали разживаться они с Мешковым. А все было не так. Что касается денег, Мавра была строгой и честной игуменьей, у нее копейки не выпросишь обительской. Просто чистили однажды они с Никодимом Мешковым заплесневелый погреб в игуменской стае, и провалилась

¹ Уставщица — скитница, ведающая религиозными службами, наблюдающая за выполнением обрядов.

² Стая — несколько изб в скиту под одной крышей, соединяемых обычно меж собой сенями или крытыми переходами.

лопата в стенку. Раскидали землю, гнилье какое-то, ржавые железки, обнаружили подземелье. Со страхом вошли, засветили свечку и увидели десятка два полусгнивших кованых сундуков, а в них — прах от тряпья да мехов. Что сохранилось, так это серебряная посуда да с горсть старинных золотых монет, колец и серег — всего тысяч на десять-пятнадцать. Стали думать, откуда это все здесь и что делать с золотом.

Умница была Пелагея Мешкова, ничего не скажешь. Она рассудила так: сундуки чьи — неизвестно, только видно — не при последней покойной матушке игуменье спрятаны были, а лет сто назад. Наверяд ли она знала о них. Слышно было, в войну с французами в двенадцатом году московские купчишки по скитам добро прятали. Может, спрятал кто, а взять забыл. Говорить теперь об этих сундуках не надо — пойдет спрос да говор: сколько сундуков, чего в них? И не поверят, что ничего. А это золото меж находчиками пополам, да дело с концом. Бог дал, Бог разделил, да и думать об этом забыл...

— Ладно уж... — согласилась нехотя тогда Мавра.

Вот как оно было на самом деле, да разве объяснишь людям...

— Так я спрашиваю, что ты сказал? — пуще прежнего закричал Клычков, потому что Воркутин испуганно молчал.

Но в эту минуту в залу вошел длинноногий, поджарый, как гончий пес, парень с красивым лицом — личный секретарь и помощник Аркадия Арсентьевича Клычкова Матвей Сажин. Он днем и ночью находился при своем хозяине.

Этого парня хорошо знали все, с кем в последние годы имел дело Клычков. Сажина побаивались и перед ним заискивали, потому что он мог при острой необходимости за «соответствующее уважение» оказать на своего всемогущего патрона то или другое влияние.

Сажин был совершенно трезв. Отличный городской костюм сидел на нем как влитой. Манжеты сверкали невиданной белизной. Тонкие черные усики брезгливо вздернулись.

— Ну, — повернулся к нему сердито Клычков. — Чего усами дрыгаешь? Говори.

— С горы просигналили, Аркадий Арсентьевич. Едут, значит...

— Слава богу, — кивнул Клычков, кажется даже довольный, что Сажин прервал неприятную сцену, и выпил еще один бокал коньяка с шампанским. — Веди прямо сюда.

Со всех сторон пьяно зашумели:

— К-кыто едет?

— Откуда?

— Еще поздравители, что ли?

— Припозднились, коли так, хе-хе!

— От радости ноги отнялись...

— Серафима Аркадьевна едут, — сказал Сажин и вышел.

У купцов, промышленников, лабазников от трехдневной пьянки туман в глазах, звон в голове. Первой сообщила, что к чему, Дунька Стелька, вскрикнула:

— Дочь твоя, Аркадий? Как же я?.. Что же мне?.. Неудобно!

Вскочила и заметалась было. Но Клычков ухватил ее за платье, бросил возле себя на стул:

— Сиди уж... Застеснялась! В обморок не упадет, не такова девка.

А под окнами брякнул меж тем колокольчик. Снова распахнулась дверь в залу, снова вошел Матвей Сажин, даже не вошел, а вскочил задом, попятился:

— Пра-ашу, прашу, Серафима Аркадьевна! Батюшка заждались. А также... и другие.

Другие, однако, даже не подозревали, что Аркадий Арсентьевич послал несколько дней назад людей в Екатеринбург, где третье лето подряд гостила у Мешковых его дочь.

Все притихли. Даже корчившиеся от изжоги на диванах приподнялись — всем было интересно поглядеть на единственную наследницу несчитанных миллионов Клычкова.

Она появилась в дверях, стремительно сбросила черную пыльную накидку на безукоризненный костюм Са-

жина, расталкивая пьяных, отбрасывая стулья, побежала к поднявшемуся навстречу отцу, повисла на шее, заболтала ногами в грязных дорожных сапожках из мягкой кожи.

— А это кто, батюшка? — спросила она, отпустив его шею и ткнув рукой в залу.

— А так... люди. Друзья мои. Вот гуляем на радостях...

Серафима Клычкова была хороша. Вся ее крепкая фигура дышала лесной таежной свежестью, немного диковатой силой.

Опомнившись, придя в себя, зашевелились, загалдели заводчики, купцы и прочие промышленные и торговые люди:

— Что и говорить...

— И такое сокровище скрывал от нас, Арсентьич...

— Одно слово — в отца дочка...

— Счастливый же ты, Аркадий Арсентьич...

— Я и толкую — чего тут говорить! Нечего...

— Нет, есть чего! — крикнул Клычков. Все смолкли. — Какое сегодня число?

— Слава богу, четырнадцатое августа.

— Так вот... — Клычков покачнулся, но успел схватиться за плечи дочери. Девушка тоже шатнулась, но удержала отца. — Так вот... объявите всем вы, деловые люди: августа четырнадцатого дня тыща девятьсот пятнадцатого года на благословенном Урале изволили стать и появиться новый золотопромышленник...

— Аркадий Арсентьевич Клычков, — подсказал ирбитский купец Прохор Воркутин, когда Клычков на секунду приостановился. — Ура Аркадию Арсенть...

— Не-ет!! — что есть силы заорал Клычков. — Серафима Аркадьевна Клычкова!! Вот теперь — ура-а!

Однако никто не закричал. Пьяная компания глядела на отца и дочь Клычковых осоловелыми глазами, ничего не понимая.

У Серафимы перехватило дыхание. Перехватило до того, что ее маленький носик побелел, а тонкие ноздри чуть подрагивали.

— Однако постой, Аркадий Арсентьевич, — выговорил наконец кто-то. — То есть как все понять-разуметь? Замуж, что ли, дочь выдаешь и рудники вроде бы за ее приданым...

— А ты попробуй посватайся, — вяло сказал Клычков и сел, начал ковырять вилкой в тарелке. — Если всего твоего капиталу на свадьбу-то не хватит, я добавлю уж.

— Так как же тогда понять?

— А так. Дочка в столице... в самом Петрограде... желаю, чтоб жила. И чтоб по всяким заграницам ездила. Золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки... Поняли? Скажите всем: Клычков Аркадий подарил дочери золотые рудники на карманные расходы. Пусть весь Урал знает! Вся Россия!! Вот. А об приданом другой разговор будет... когда время придет.

И опять в зале установилась тишина.

Ноздри Серафимы уже перестали дрожать, дышала теперь девушка легко и свободно. Она только что заметила сидящую рядом с отцом Дуньку Стельку и внимательно глядела на нее, чуть удивленно приподняв брови.

Клычков откинулся на стуле, повернулся к дочери, понял ее взгляд, махнул рукой:

— Это ничего, дочка, прогоню ее сегодня. Матвей, а Гаврила-то Казаков приехал?

— Гаврила! — тотчас крикнул стоявший у дверей Сажин.

Вошел кряжистый, угрюмого вида мужик, перекрестился двумя перстами, поклонился и молча встал рядом с Сажиным.

— Ты вот что, Гаврила. Будешь теперь не на медных, а на золотых рудниках главным управляющим.

Казаков опять молча поклонился.

— Семейю перевезешь, будешь жить в этом доме. Понял? Для важности. Только скажи, чтоб диваны заменили.

Гаврила отвесил еще один поклон.

— Жалованья кладу вдвое против прежнего. Только чтоб держал у меня все тут! Как на медных...

Гаврила сверкнул глазами, глухо вымолвил:

— Уж будьте покойны, Аркадий Арсентьевич.

— Все рудники чтоб пустили к зиме. Сколь капиталу надо вложить — вложим. Ступай. Да скажи кабатчику — пусть запрет заведение. Хватит водку задаром жрать.

Гаврила поклонился в последний раз и ушел.

— Н-ну, дочка... — промолвил Клычков, встал, обвел мутными глазами разопревших, опарашенных гостей. — Чего глазами лупаете? Завидуете? Н-ну-ка, кто из вас такой подарок дочери своей сделать может?

— Иван Андреевич Сорокин из Екатеринбурга может...

— Ха-ха, Сорокин! Я вас спрашиваю... То-то!.. Далеко драным воробьям до сорок, не то что до орлов. Н-но погодите, и Сорокин у меня на Печоре побывает, дайте время. И Сорокин будет мне «ура» кричать, как... П-постой, погодите-ка, разлюбезные мои! — вдруг зловеще протянул Клычков. — Да вы что, ув-в-важаемые мои гостенечки?! Это почто вы «ура» не прокричали дочери моей, как я желал, а?! Прощка-а! Воркутин, сын с-сукин! Ты почто не кричал, спрашиваю?!

— Так я, Аркадий Арсентьевич... От изумления голос перехватило. Я... ежели желаешь... — залепетал купец.

— Перехватило! — забушевал Клычков. — Сейчас тебя кондрашка перехватит! Матвейка! Сажин! Завтра же взыскать с него по всем векселям...

— Аркадий Арсентьевич, отец родной, — взмолился Воркутин, схватил руку Клычкова. — Разоришь ведь, по миру пустишь. Погоди маленько, я обернусь и все выплачу.

— А-а-а! — торжествующе закричал Клычков. И вдруг завернул на столе скатерть вместе с посудой, с бутылками, с закусками, сбросил ее на пол, схватил Серафиму, посадил ее на стол. — Тогда обмети пыль бородой с сапог моей дочери, обсоси всю грязь!

Клычков взял Воркутина правой рукой за шиворот, поставил на колени, левой схватил ногу дочери и ткнул в лицо ирбитскому торговцу.

— Целуй, в печенку тебя!! И... все остальные... по очереди. Матвейка! Глядеть у меня в оба! Об увильнувших доложишь завтра...

Сажин с разбегу вскочил на стол, стал рядом с Серафимой, вынул из кармана карандаш.

Девушка сперва пыталась было оттолкнуть старика Воркутина, но не смогла — тот уцепился уже за ее ногу, как клещ. А со всех сторон гремели стулья, слышался стеклянный хруст — люди, как бараны, толкая друг друга, старались пробиться к ней один вперед другого. И тогда... тогда она улыбнулась своими капризно-тонкими губами, чуть откинулась назад, уперлась в стол руками и, не переставая улыбаться, подставляла склоняющимся перед ней заводчикам, владельцам промыслов, торговых лабазов и контор попеременно то правую, то левую ногу...

Когда поднялся с колен последний купец, маленькие сапожки ее блестели, будто побывали у добросовестного чистильщика. Серафима внимательно оглядела их и повернула голову к Дуньке Стельке, которая сидела все время почти рядом, опершись локтями о стол, зажав голову руками.

— Ну а вы? — тихо спросила Серафима, будто даже с застенчивой улыбкой.

— Нет! Нет!! — вскрикнула Дунька, вскочила, побежала из зала.

Серафима проводила ее задумчивым взглядом голубых глаз.

— Ну а теперь гуляй дальше, господа! — объявил Клычков. — Душно тут. Матвейка, распорядись там — столы на двор, на зеленую травку, на воздух! А к вечеру баньку истопить — попаримся, чтоб отрезветь...

Вечером Серафима, освещенная последними лучами солнца, сидела на террасе дома. Внизу, на столах, уткнувшись в тарелки, и прямо на земле валялись, храпели, стонали перепившиеся вконец гости.

Усадьба дома была огорожена высоким штакетником. Недалеко, на берегу протекающей прямо на усадьбе речушки, выстаивалась уже натопленная баня.

Вскоре возле бани появился Гаврила Казаков с четырьмя здоровенными парнями, которых он привез с собой с медных рудников. Парни волокли упирающуюся Дуньку Стельку.

— Значит, так... — Гаврила потряс перед носом Дуньки кулаком. — Сейчас пропаривать гостей Аркадь Арсентьича будешь... Поработаешь — и домой. Кони уж приготовлены. Веники в кадках с квасом мокнул.

— Не буду, не буду! — орала Дунька, пытаясь вырваться.

— Еще чего! — прикрикнул Казаков. — Приказ самого Аркадь Арсентьевича. Гляди у меня, а то живо... платьишко сдернем — да в тайгу, на ужин комарам. У нас ить тут свои порядки.

Угроза сразу подействовала. Дунька, пошатываясь, вошла в баню. Вместе с нею вошли двое парней. А двое других принялись подбирать валявшихся по всей усадьбе гостей и волоком стаскивать в баню.

Серафима улыбнулась одними уголками губ и крикнула, чтоб ей принесли чаю с ее любимым малиновым вареньем.

4

Большереченское лежало в длинной неглубокой ложине. По самой сердцевине ее текла, виляя, маленькая, по колено, речушка, вдоль которой было разбросано сотни полторы домишек.

— Кто это громкое название такое дал селу? — спросила Серафима у Матвея Сажина, останавливаясь на берегу речушки, заросшей лопухами и осокой. — В насмешку, что ли?

— Не могу знать, — виновато ответил он и повернулся к обветренному домишку, стоявшему неподалеку от берега. — Эй! — крикнул Сажин двум мужикам, которые сидели возле дома за грубо сколоченным столиком и наблюдали за Серафимой и Сажиним. — Не скажете ли вы?

— Чего? — переспросил один из них, худой и рыжеволосый мужик. Несмотря на жару, он сидел в шапке и рваной тужурке — видимо, был болен.

— Оглохли, что ли? Отчего поселок так прозывается, спрашиваем.

Ответил, усмехнувшись, другой мужик, низкорослый, но плотный, с обвислыми седоватыми усами:

— А тут другая, большая река есть, по ей и сельцо кличуть. Тильки вам ее не увидеть...

— Что за такая река? Что за чушь городите? — возвысил голос Матвей Сажин.

— Река человеческих слез да горя, — пояснил рыжеволосый.

Сажин вздернул усики, растерянно глянул на Серафиму — угораздило же, мол, спросить их!

— Пойдемте, — сказала девушка.

— Да-да... Хамье, чего уж ожидать... — Но все-таки снова повернулся к мужикам, спросил строго: — Кто такие? Рудничные? Почему не на работе?

— Тут все либо рудничные, либо больничные, — ответил тот, что в шапке.

Откуда-то подскочил большевиченский кабатчик, закрутился вокруг Серафимы и Сажина:

— Зря вы с ними, разве это люди? Смутьяны и баламуты. Тот, усатый, — Гришка, по прозвищу Кувалда. Хохол с Украины. А этот, рыжий, — Степка Грачев. За девятьсот пятый в тюрьме сидел, сюда из Сибири заявился. Бывший хозяин рудника хватил с ними горя. Одно слово — рвань...

— Пойдемте, — еще раз сказала Серафима и быстро зашагала прочь.

Случай этот не то чтобы произвел на Серафиму тяжелое впечатление — она бывала на некоторых рудниках и заводах отца, насмотрелась всякого, — но просто ей мучительно и остро захотелось обратно в губернский город, в Екатеринбург, где много шума, света, блеска, где есть у нее много знакомых — дочери и сыновья купцов Коробовых, владельцев огромных магазинов Мешковых, фабрикантов Казаровых.

Три года назад белица Настасья Мешкова, привезенная когда-то родителями на воспитание в обитель Мавры Клычковой, сговорила Серафиму поехать на лето в Екатеринбург к ним в гости. Серафима, всю жизнь прожив-

шая в лесах, только по книжкам, по рассказам отца да подружки Настасьи знала, что такое город. Очень уж ей хотелось взглянуть на него. К тому же до тошноты опротивели ежедневные чтения божественных кафизм, бесконечные посты и те полторы тысячи «местных, средних и штилистовых» икон, что стояли в большом и малом придельных иконостасах, а также на полках по всем стенам обительской часовни. Игуменья обители, а ее родная тетка, имела особую слабость к двум вещам — к иконам и к пасхальной песне «Велия радость днесь в мире явися...». И поэтому она заставляла ее, Серафиму, наравне с другими белицами обители подолгу каждое утро петь заунывную «Велия радость...», а днем подолгу выстаивать в часовне под спускающимися с потолка паникадилами и созерцать лики святых. Частенько она устраивала своим послушницам строгие экзамены и очень сердилась, если кто путал имена апостолов, пророков, праотцев, богородиц. И каждый раз не то страшала, не то сожалела, что скиты давно обветшали и порушились, что вот когда-то раньше в иных обителях бывало по три тысячи и даже много более икон. Свою мать Серафима не знала — та умерла во время родов.

Обительская жизнь опротивела Серафиме, но и просить разрешения у тетки на поездку в гости к подруге не решалась. Знала, что не пустит.

И уговорила Настасью подождать приезда отца: тот души в ней не чает и — была уверена — не устоит перед любой ее просьбой.

Так и вышло. Едва отец уловил суть просьбы, сказал:

— Об чем речь! Давно пора. Нечего киснуть тут, показывайся, дочка, на людях.

— Окстись! — побелела тетка. — На срамные бритые подбородки глядеть! На поганых щепотников Никонных...

— Ничего, пусть едет, — решительно сказал отец. — Я как раз тоже в Екатеринбург. Там попрошу Мешкова Никодима Осиповича — пусть по старой дружбе приглядит за дочкой. Да и вон твою прислужницу Мотрю снарядим для генерального руководства.

И Серафима поехала.

У Никодима Мешкова от старой веры, как и у Клычкова, осталась одна борода. Приезду своей Настасьи и дочери Аркадия Арсентьевича он обрадовался и после объятий сказал, подмигнув:

— Наша-то мать тоже редко теперь ладан в домашней келье жгет. А вам-то, красавицы мои, и вовсе ни к чему вонючий дым глотать. Воспользуемся тем, что мать на Волгу к родным уехала, да поглядим на белый свет. Настенька, посылай-ка записочку дочерям Коробова, они уж спрашивались про тебя. Шустрые девки у Коробова Анания, они тебе, Серафимушка, Екатеринбург наш славный снизу доверху покажут. А ты, Арсентьич, не беспокойся, в полной сохранности твоя дочка будет...

...Не заметила Серафима, как и лето пролетело. Шум, блеск и разливанное море радости с головой захлестнули ее. Вечера с танцами то у Мешковых, то у Коробовых, то еще, еще и еще у каких-то знакомых. Ложились спать на рассвете, а то и позже, завтракали в четыре дня, обедали в восемь-десять вечера. Сперва смешно и страшновато было — вот бы узнала тетка! — а потом понравилось. Модные губернские портнихи, катанье на лодках по Исети-реке. А один раз были даже на лошадиных скачках.

...На Печору вернулась Серафима поздней осенью. Настасья осталась в Екатеринбурге, отец более не пустил ее в скит.

Еле-еле дождалась весны и по первой дороге снова укатила на целое лето в Екатеринбург, несмотря на слезы и заклипания тетки.

В середине лета в городе появился отец. К Мешковым он почему-то не зашел, и Серафима решила повидаться с ним в гостинице, где он обычно квартировал.

Открыв дверь в номер, она ахнула: измятый, всклокоченный, в нижней рубахе навывпуск, отец стоял среди комнаты и махал откупоренной бутылкой, расплескивая вино. А вокруг него прыгали, кривлялись, визжали десятка полтора растрепанных, полуголых женщин.

Кроме них и отца, в комнате было еще несколько мужчин, среди которых она с удивлением заметила и Никодима Мешкова, и старика Коробова.

— А-а, дочка... — грустно как-то сказал отец. — Ну что же, и ладно. Не сегодня, так завтра узнала бы про это... Понимаешь, родимая моя, рано или поздно — все равно помирать. Так уж пожить хоть. Я всю жизнь в темных лесах просидел. Теперь наверстать хочу, взять от жизни, что еще можно. И тебе... и тебя в Екатеринбург вот... зря, думаешь? Ты отца прости, пример с него не бери. Дурак он, отец твой. Но, доченька моя... Эх, да мы же Клычковы! Не имеем титулов да званий. Но пусть завидуют все нам, пусть удивляются все! Власти-то у нас, может, побольше, чем у иных высокопревосходительств! Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это, дочка... И — пользуйся! Пользуйся! Коротка жизнь-то. А я для тебя ничего не пожалею. Скоро Москву тебе покажу. Петроград... Эй, музыку для Клычковых!

Ударил оркестр, сгрудившись в дверях соседней комнаты; задребезжали стекла. Серафиме было муторно, противно, она хотела крикнуть отцу в лицо что-то обидное, резкое, повернуться и убежать, но... не крикнула почему-то, не повернулась, не побежала. Она постояла немного, внимательно оглядела притихших под ее взглядом мужчин и женщин и чуть скривила тонкие губы.

Потом медленно повернулась; опустив голову, пошла на улицу, не замечая почтительно поддерживающих ее на лестницах швейцаров, не замечая, как осторожно посадили ее на извозчика...

И снова, как в прошлое лето, бездумно и весело потекла ее жизнь, понеслась в сверкающем вихре. Отца она больше не видела, хотя раза два читала в газетах о его скандальных попойках в гостинице. Читала и... улыбалась про себя одними уголками губ.

Бездумье кончилось осенью, когда она снова оказалась в скиту. «Власть не в чинах, а в деньгах. Помни это, дочка... И — пользуйся! Пользуйся!» — начали и начали вдруг стучать в голове слова отца.

Власть... Что это такое? Как ею пользоваться?

Ведь и тетка, едва Серафима стала помнить себя, тоже все время толковала ей о власти. «Ты несмышленишь еще, а подрастешь — поймешь, какую тетка твоя власть

над людьми держит. И на Печоре, и на Вычегде, и по всему Северному Уралу люди, хранящие в сердце своем пречистую веру Божью, знают и уважают игуменью Мавру. А за что? За то, что веру эту истовее других блюду. А вот помирать стану — обитель свою крепкую тебе передам. И чтобы власть твоя была не слабже, пропитывайся, доченька, духом Божиим, как снег вешней водой. Учись, как молитву Богу сотворить, как снадобье из трав лесных для хвораго сварить, ибо мы, слуги Божьи, должны исцелять души и тела людские. Почаще читай Библию, пониже бей поклоны, и заранее пойдет о тебе удивление высокое, молва далекая. Я уж позабочу об этом. И станешь после меня владычицей лесной, обретешь власть сильную — уж догадаешься, как ею пользоваться...»

Серафима, подрастая, видела, что тетка ее действительно обладает большой властью: каждое слово ее — закон не только в обители, во всем Черногорском скиту. Не замечала Серафима только, что год из года меняется к ней самой отношение всех окружающих. Сперва она просто баловницей была всей обители, люди говорили с ней легко и ласково. Эта ласковость сменялась постепенно услужливостью, почтительностью и, наконец, откровенным заискиванием. И если случалось ей выезжать куда из обители, люди, узнав, кто она такая, мгновенно преображались, смиренно и просяще как-то предлагали наперебой свои услуги.

Серафима привыкла все это принимать как должное, принимать, ни о чем не думая, не размышляя.

И может быть, поэтому она не замечала, что и в Екатеринбурге люди, узнав, что она дочь небезызвестного Аркадия Арсентьевича Клычкова, сразу становились внимательными и предупредительными.

И вот, вернувшись в скит, задумалась: что же такое — власть над людьми? Правда, мелькнула было об этом мысль впервые еще там, в гостинице, когда она, потрясенная открывшейся перед ней картиной, слушала отца, размахивающего бутылкой, плескавшего из нее вином на полуобнаженных вспотевших женщин. Где-то в груди пролился вдруг холодный, обжигающий ручеек, но тотчас иссяк, высох...

А едва переступила порог обители, с удивлением обнаружила, что ручеек этот окончательно не высох, что он снова засочился, сладко пощипывая внутри...

Таежная северная зима долгая. От молитв и бесконечных служб, от запаха трав, из которых тетка варила лекарства, Серафиму тошнило, и она, к ужасу тетки, перестала отправлять службу, забросила и Библию, и псалтырь, и часовник и даже лампаду перестала зажигать в своей светлице.

А ручеек уже превратился в ручей, что-то размыл внутри мягкое и податливое, хлынул горячим потоком, затопив ее всю...

— Доченька, побойся Господа нашего, он не простит, — ныла тетка ежедневно. — Я ведь духовная мать твоя. От счастья и власти — видано ли! — отворачиваешься, в мирские грехи погружаешься, как отец твой непутевый. Я ли тебя не готовила к приятию власти?! И святую песню нашу «Велия радость...» забыла. А ты спой-ка ее, спой и погляди, как разглядятся лики, тебе внимающие, какое благочестие разольется на них... А ты, греховодница, тетку в могилу кладешь! Ну, тетку — ладно... А от власти-то над людьми зачем отказываешься...

— Ах, отстаньте, ради бога! — резко говорила уже Серафима.

Что ей была теперь власть над обителью, над скитом или даже над всеми староверами Печоры и Вычегды! Она почувствовала, кажется, чем пахнет другая власть, о которой говорил отец, или стала догадываться, как она пахнет. Вон, к примеру, эти самые фабриканты Казаровы. Как же все это было?.. Ну да, кажется, так. В позапрошлом году сразу же после приезда в Екатеринбург у этих самых Казаровых, с которыми в хорошем знакомстве состояли купцы Коробовы, был вечер. При знакомстве, в общей суматохе, старшая дочь Коробова отрекомендовала ее, Серафиму, так: «Это наша новая подружка Сима, приехала из лесов погостить к нам. Порядков здешних она не знает, так что уж повнимательнее к ней...»

Повнимательнее... А никто даже простой вежливости не оказал. Сидела весь вечер в уголке, как дура, а все коз-

лами прыгали вокруг этих неповоротливых купеческих дочек. Лишь когда вышла подышать и успокоиться от обиды на балкон, сзади неслышно появился сын иссохшего, как гороховый стручок, старика Казарова Артамон, схватил за плечи начал тыкаться в щеки и шею мокрыми, горячими губами И в ответ на звонкую оплеуху прошипел, как гусак, втянув голову в плечи: «Ах ты... хамка лесная. Виноват-с... Не думал, что и к вам с обхождением надо...»

Глотая слезы, ушла с вечера.

А на другой день к Мешковым пожаловал Артамон и, краснея, просил у нее прощения. Затем приезжал сам Казаров, долго скрипел, извинялся, расшаркивался, невнятно бормоча что-то о своей личной неучтивости. Из всех его слов Серафима запомнила только: «Что ж вы сразу не сказали, что вы... Как же-с, знаем Аркадия Арсентьевича! Да и кто его не знает в здешних местах! Большой человек...»

Серафима простила, сама не понимая почему. Казаровы устроили в ее честь настоящий бал. Теперь долговязый Артамон крутился только вокруг нее. Все лето Артамон таскался по пятам, превращаясь иногда в самого обыкновенного лакея у всех на виду.

Обо всем этом размышляла дочь Аркадия Клычкова, отдыхая на берегу пруда после прогулки по селу.

Пруд был выкопан прямо на усадьбе владельца рудников, за баней, и наполнялся водой из речушки. Огромный, заросший густым камышом, он отражал высокие плывучие облака и казался бездонным.

Справа, метрах в десяти от скамейки, торчал из камышей нос какой-то лодки.

Серафима сидела на скамейке, глядела, как играет рыба. Но мысли были далеко. Скорей назад, в Екатеринбург! Вот уж вытянется и без того длинная рожа Артамона, когда узнает про отцов подарок! От лакейского усердия язык на ветру высушит. Да и все остальные знакомые и подружки только ахнут от удивления, присядут...

Но что ей теперь Екатеринбург? Впереди — Москва, Петроград! Обязательно, обязательно на следующий

год — в столицу! А там, может, и в самом деле — Париж, Рим, заграница...

У Серафимы захватило дух, в груди сладко постанывало.

— Вот-с вы где, Серафима Аркадьевна! — раздался голос Матвея Сажина. — А я искал, искал... Договаривались на рудники поглядеть после обеда. Аркадий Арсентьевич разрешили сопровождать, как и утром...

Серафима досадливо поджала губы, промолчала. Сажин потоптался рядом, не решаясь сесть на скамейку.

— Я все эти дни хотел тебе сказать, Симушка... — выдавил он наконец, перейдя на «ты», — хотел сказать, что... э-э... заждались. А также рады видеть тебя... очень и безмерно.

— Кто? Батюшка, что ли?

— Батюшка. А также другие...

Серафиме стало смешно. И она откровенно захохотала.

Родители Матвея жили когда-то тоже в Черногорском скиту, но затем, не поделив что-то с бывшей до Мавры игуменьей, уехали в Сибирь. Когда настоятельницей стала тетка Серафимы, Парфен, глава семьи Сажиных, приехал в скит с молодым сыном Матвейкой, постоял несколько служб, повздыхал: как ни хорошо в Сибири, а тянет, тянет в родные места... Вернулся бы теперь с радостью, да хозяйство большое в Сибири, жалко зорить.

Так, вздыхая, и уехал, оставив в скиту Матвея для обучения божественным писаниям.

Учился Матвей под руководством Мавры прилежно. Вскоре он наизусть шпарил и часовник, и все двадцать кафизм псалтыря. Чернявый, похожий на девушку и лицом, и хрупкостью, он мог вместе с Серафимой да Настасьей справлять многие уставные службы.

И в те-то времена проскочила меж Серафимой и Матвеем, разрежала со свистом тугой воздух быстролетная ласточка, которая, по скитским преданиям, уносила на своих крыльях покой парня и девушки...

— Ой, ластва, ластвушка крылом задела меня! — упав на грудь подружке своей, призналась Серафима, когда